

О СИМВОЛИКЕ „МЕДНОГО ВСАДНИКА“.

I

Любое из произведений Пушкина ставит перед исследователем какой-либо вопрос, до сих пор окончательно не решенный. Но, повидимому, ни одно из пушкинских произведений не выдвигает столько нерешенных сложных проблем, как „Медный Всадник“. Вопрос о „Медном Всаднике“ — один из самых острых вопросов в пушкиноведении, далеко выходящий за пределы специальных интересов науки о Пушкине.

Критиками и исследователями в течение столетия сделано в отношении „Медного Всадника“ немало. Предложено довольно значительное количество различных толкований скрытого в поэме смысла, ее основной идеи. Мятеж бедного чиновника Евгения против „кумира на бронзовом коне“ толковался то как протест индивидуального начала против коллективной воли, воплощенной в государстве, то — наоборот — как восстание „малых“ и „неведомых“ представителей массы, поднимающих руку на самовластного „героя“ и „гиганта“. Подобные интерпретации пушкинского замысла были достаточно отвле-

ченны. Между тем, еще Брюсов отметил, что „Пушкину не свойственно было олицетворять в своих созданиях такие отвлеченные идеи, как „язычество“ и „христианство“ или „историческая необходимость“ и „участь индивидуальностей“. При всей своей фантастике и несомненной „загадочности“ — „Медный Всадник“ нуждается в реальном социологическом толковании. Символика образов поэмы не имеет ничего общего ни с мистикой, ни с философскими абстракциями.

Вполне понятно, что ни одному из дореволюционных исследователей не удалось дать подлинного социологического комментария к „Медному Всаднику“. Не удалось сделать этого и Брюсову, который дал чисто идеалистическую трактовку поэмы, как изображения борьбы „свободного человеческого духа“ с деспотизмом (понимаемым не как политическая, но как философская категория). Толкование Брюсова своеобразно развивает и объединяет схемы его предшественников (Белинского, Мережковского, Третьяка), но и оно, конечно, может нас удовлетворить еще менее, чем толкование первого критика поэмы — Белинского, в построениях которого все же заключалось зерно реальной политической истины.

Каждое из пушкинских произведений имеет свою историческую „судьбу“. Что касается „Медного Всадника“, — можно сказать, что только в последние

годы исследователям удалось выяснить ряд вопросов о генезисе и истории текста поэмы, а также заново поставить вопрос об ее скрытом политическом смысле.

О существовании этого смысла знали — или догадывались — и современники Пушкина, а тем более те из них, от которых зависела ближайшая судьба поэмы. Как известно, Пушкин пользовался печальной привилегией представлять свои произведения непосредственно на «высочайшую» цензуру. Правда, как теперь выяснено, цензором Пушкина на деле был не сам Николай I, а Бенкендорф или какой-либо „специалист по литературе“ из болгаринского круга. Так или иначе, „Медный Всадник“ не был пропущен цензурой (и при жизни Пушкина в печати появилось только вступление к поэме). Характерно то, что несмотря на видимое восхваление „воли роковой“ Петра I, поэма не была воспринята цензором как апофеоз самодержавия. Наоборот, именно „обожествление“ медного всадника („кумир“, „властелин Судьбы“) показалось цензору подозрительным и вызвало ряд вопросительных и всяких иных знаков.

Запрещение „Медного Всадника“ произвело крайне тяжелое впечатление на поэта. Пушкин не любил — или не мог — распространяться об этом случае. В нескольких письмах поэта и в его дневнике мы находим краткие упоминания о запрете

поэмы, касающиеся почти исключительно того материального ущерба, который потерпел Пушкин, уже заключивший со Смирдиным договор на издание „Медного Всадника“. Конечно „убытки и неприятности“, о которых говорит Пушкин в письмах к Нащокину, не ограничивались одной денежной стороной и были на деле значительно глубже. Оставшийся в рукописи „Медный Всадник“ представлялся Пушкину — и совершенно справедливо — вершиной его поэтической мысли, величайшим достижением его мастерства и вместе с тем — произведением большого общественно-политического значения.

„Пушкин жаждал видеть в печати „Медного Всадника и как автор, и как гражданин, ибо „Медный Всадник“ был для Пушкина не только произведением художественным, но и политическим. Был и еще один мотив жажды, важный, но иного порядка. Пушкину нужны были деньги. И все эти мотивы потеряли для Пушкина всякую силу, когда он увидел, каких изменений, какой переработки текста требуют от него цензурные указания“ (П. Е. Щеголев).

Эту „переработку“ поэмы произвел с легким сердцем Жуковский, уже после смерти Пушкина. Жуковскому — благодушному царедворцу — ничего не стоило вытравить из поэмы весь бунт Евгения, заменить „горделивого истукана“ — „дивным русским великаном“ и вообще придать „Медному Всаднику“ вполне

благонамеренный вид, в котором поэма и была известна читателям в течение многих десятилетий. Надо полагать, что перо Жуковского, „выправлявшее“ поэму, не дрожало. Вероятно, он производил свою „редакторскую“ работу с удовлетворением, — быть может искренно веря в то, что он совершает доброе дело, помогая творению Пушкина появиться в свет.

II

Восстановление подлинного текста поэмы и исследование ее истоков проливают некоторый свет на „загадку“ „Медного Всадника“.

Эта поэма, сгустившая в себе творческую энергию огромной напряженности, была написана между 6 и 31 октября 1833 г. в том самом Болдинском уединении, которое тремя годами ранее уже вошло в биографию поэта своей великолепной осенью (1830 года).

Никаких прямых указаний на возникновение замысла „Медного Всадника“ ни в переписке поэта, ни в каких-либо других документах мы не находим. И в самый период создания поэмы Пушкин пишет из Болдина письма исключительно жене, с которой поэт вообще почти не делился своими творческими планами. Конечно, в этих письмах, посвященных главным образом семейным темам, нет никаких намеков на замысел „Медного Всадника“.

Однако, у Пушкина есть стихотворение, вернее — набросок начала „сатирической поэмы“ (определение автора), которое находится в несомненном родстве с „Медным Всадником“. Это — „Родословная моего героя“ („Езерский“), первоначальный набросок которой был сделан, повидимому, в ноябре 1830 г., вероятно, в том же Болдине.

В своем окончательном виде „Родословная моего героя“ не имеет внешне почти ничего общего с „Медным Всадником“, если не считать сходства в социальном положении и происхождении героев: Евгений „Медного Всадника“ и Езерский „Родословной“ принадлежат к старинным, находящимся в бедности и упадке дворянским родам. Езерский —

... жалованьем жил
И регистратором служил.

Евгений —

... Живет в Коломне, где-то служит.
Дичится знатных и не тужит
Ни о почиющей родне,
Ни о забытой старине.

Тема „Родословной моего героя“ — классовое самосознание дворянства и его историческая роль, сожаление о бледнеющем блеске „родов боярских“ — тема, как мы знаем, очень острая и актуальная для Пушкина тридцатых годов, но в „Медном Всаднике“ звучащая очень глухо.

К этому вопросу мы еще вернемся. Творческая связь „Родословной моего героя“ с „Медным Всадником“ вскрывается совершенно точно на основании черновых вариантов неоконченной поэмы об Езерском. Эта последняя начинается в черновиках описанием ненастного осеннего вечера, грозящего наводнением „омраченному Петрограду“. Изучение рукописей „Родословной“, произведенное Н. В. Измайловым, показывает, что единства в замысле этой поэмы не было, повидимому с самого начала работы. Пушкин работал одновременно и параллельно над двумя редакциями поэмы с двумя различными героями (один из них — светский дэнди онегинского типа, другой — бедный чиновник „в конурке пятого жилья“ или в „чулане“). Езерский в окончательной редакции „Родословной“ ближе, конечно, ко второму из этих вариантов. В „Медном Всаднике“ героем является уже определенно второй из этих социальных типов, интересовавший Пушкина в эти годы.

Вопрос о родстве „Родословной моего героя“ и „Медного Всадника“ решался различно. Одна теория — господствующая до сих пор, хотя и оспариваемая некоторыми исследователями, — утверждает первичное единство замысла этих произведений, связанных между собою и эпохой их создания и общностью героев. Другое решение этого вопроса, подкрепленное текстологическими изысканиями и некоторыми основательными соображениями, говорит о том, что „Ро-

дословная“ и „Медный Всадник“ — два самостоятельных различных замысла, „хотя и возникшие и обработанные на одном материале“. Однако, этот вопрос не имеет для нас существенного значения. Ведь так или иначе, родственная связь между так называемым „Езерским“ и „Медным Всадником“ существует. Каков был первоначальный замысел „Езерского“ — сказать невозможно, несомненно только то, что его материалом Пушкин отчасти воспользовался при создании „Медного Всадника“. Большую степень вероятности имеет предположение Третьяка о том, что „Медный Всадник“ является своеобразным поэтическим ответом Пушкина Мицкевичу — на поэму последнего „Dziady“, представляющую резкий выпад против русского самодержавия и петровской столицы — Петербурга. Эти стихи Мицкевича, действительно, обладают большой сатирической силой, и Пушкин, познакомившийся с ними в июле 1833 г. мог и должен был воспринять их, как удар, направленный против своих национально-политических идеалов.

Наконец — если проследить в творчестве Пушкина возникновение мотивов „Езерского“ — нельзя не упомянуть о стихотворении „Моя родословная“, написанном в том же 1830 г., к которому, повидимому, относится первый набросок „Родословной моего героя“. Тема „родословной“, т. е. проблема упадка старинных дворянских родов в связи с пере-

ходом некоторых их представителей в „мещанство“ или третье сословие („tiers-état“) глубоко волновала Пушкина. В обеих „Родословных“ имеются полностью совпадающие мотивы, — напр., ироническая декларация автора о своем „мещанстве“. Характерно и то, что в „Моей родословной“ появляется в *post scriptum* образ „шкипера славного“ — Петра.

III

Отношение Пушкина к Петру I было двойственным. Петр был для Пушкина „одновременно Робеспьер и Наполеон (воплощенная революция)“. В другом месте Пушкин называет Петра „нетерпеливым самовластным помещиком“. „Революционность“ Петра Пушкин видел прежде всего в уничтожении им „боярства“ — старинного русского дворянства. Отдавая должное „обширному уму“ Петра, его организаторской деятельности, Пушкин отрицательно относился к его политике террора, направленной именно против дворянства, историческая роль которого столь занимала Пушкина.

Противоречия в отношении Пушкина к личности Петра были характерным отражением противоречий социального бытия и политического мировоззрения поэта. Пушкин — потомок обедневшего „600-летнего“ рода — сознавал себя, и фактически был „мещанином“, живущим на литературный заработок. Писательская профессия понемногу изменяла со-

*

циальную природу поэта, который, однако субъективно не хотел терять связей со своим классом. Именно к тридцатым годам — быть может, и в силу общественно-политической обстановки — относятся наиболее яркие попытки Пушкина утвердить свое классовое самосознание уже на консервативной почве.

Однако, в империи Николая I другие пути для „старинного дворянства“ были закрыты. Пушкин вынужден был примириться с „исторической необходимостью“, но это примирение, отход на внешне консервативные позиции был связан у поэта с политическим пессимизмом. Отсюда, в конечном итоге, и скептическая оценка Пушкиным декабрьского восстания 1825 года, как „безумного“ акта.

Из этих — в основном — положений исходит Д. Благой в своей „разгадке“ „Медного Всадника“. Путем привлечения большого материала Благой приходит к выводу, что „Медный Всадник“ — „символическая поэма“ с реальной социально-политической символикой.

В основе замысла „Медного Всадника“, по мнению Благого, находится „художественное отражение декабризма“ в двух образах-символах, олицетворяющих русскую самодержавную государственность и „старинное дворянство“, вышедшее на „площадь Петрову“ 14 декабря 1825 года. В поэме дается не „аллегорическое изображение“ восстания декабристов, — это событие поднято Пушкиным „на высоту

величайших художественных и философских обобщений“.

Надо сказать, что аргументация Благого в целом довольно убедительна и достаточно тонка. Действительно, очень возможно, что Пушкин (сознательно или нет — это другой вопрос) придал своей поэме именно такой политический смысл, соответствующий взглядам поэта на неудавшуюся декабрьскую революцию и являющийся ответом на „вызов“ Мицкевича.

Во всяком случае, гипотеза Благого является первой попыткой реального социологического истолкования „Медного Всадника“. Сделанное Благогим должно послужить основой для продолжения и углубления исследования поэмы. Марксистская литературная наука по существу еще не подошла к Пушкину и здесь еще предстоит открытия и разрушения установившихся мнений. Наконец, и находки новых материалов и текстологические исследования могут неожиданно пролить новый свет на ряд вопросов.

Нам представляется возможным, например, следующее уточнение и развитие построений Благого. Если декабрьская революция, воплощенная в образе „безумца бедного“ — Евгения, представлена Пушкиным, как попытка с негодными средствами, как пустая угроза „горделивому истукану“, — то не является ли основным смыслом поэмы — мысль о свое-

образной „революции сверху“, воплощенной в „ужасном“ образе Петра, диктатора и „властелина Судьбы“ („Наполеона и Робеспьера“, ср. выше). Вопрос заключается в том, какую сторону личности Петра стремился Пушкин акцентировать в поэме. Столкнув в форме грандиозных символов две исторические силы, Пушкин одну из них (Евгения) по существу лишил всякой способности к революционному действию, другую же наделил атрибутами революционной — разрушительной и созидательной — воли. И возможно, что апелляция к историческому прошлому, в представлении Пушкина аналогичному Великой французской революции, понадобилась поэту в качестве своеобразного оправдания своих политических воззрений, испытавших чувствительный укол от ядовитых стрел сатиры Мицкевича.

Таким образом символика поэмы могла бы означать следующее. Революционные силы, носителем которых Пушкин считал „старинное дворянство“, не способны претворить в жизнь свои намерения (Евгений — фигура достаточно жалкая, его порыв заранее обречен на поражение). Подлинная „революция“ в русской истории произведена Петром, и он — Медный Всадник — мстит за все попытки продолжить его дело иными путями, оберегая незыблемость императорской власти, им созданной и укрепленной.

IV

Лирика, риторика, эпос — три стихии поэтического творчества представлены в „Медном Всаднике“. Лирика — личная заинтересованность поэта в теме, его отношение к ней и к миру, риторика — политический пафос, полемическая заостренность темы; эпос — повествование о событиях с необходимым спокойствием и объективностью рассказчика. Трудно найти другое поэтическое произведение, в котором столь же нераздельно сочетались бы все эти элементы, в поэзии обычно разрозненные. „Медный Всадник“ — блестящий образец для изучения (не для подражания), для усвоения принципов творческого метода Пушкина, еще далеко не изученных. В современных литературных дискуссиях уже намечается, как вывод, необходимость органического соединения элементов лирики, риторики и эпоса в нашей поэзии. Методы этого синтеза можно исследовать на примере немногих произведений, подобных „Медному Всаднику“.

И, наконец, богатый материал для анализа представляют самые изобразительные средства поэмы, ее неожиданные образы и сравнения:

И тяжело Нева дышала,
Как с битвы прибежавший конь...

(ср. в „Полтаве“ — „Как пахарь, битва отдыхает“), в особенности же целые системы слуховых образов,

неотделимых от звуковой фактуры стиха — в описаниях наводнения и классической погони Медного Всадника:

Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье...

Здесь Пушкин, как было уже однажды отмечено критикой, шел от державинского стиха с его громopodobным звучанием, звоном металла. И в этом — один из многих примеров того, как Пушкин усваивал и перерабатывал наследие своих предшественников, переплавляя их достижения в своем творческом огне.

Инн. Оксенов.

ПУШКИНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Серия: „Последние годы
творчества Пушкина“

— 1833 — 1837 —

ВЫПУСК ПЕРВЫЙ

Л Е Н И Н Г Р А Д
1 9 3 3